

Член Союза писателей СССР и России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, автор многих поэтических книг, публикаций в коллективных сборниках, сибирской и центральной периодике. Его творчество высоко оценили все известные мастера слова: Кайсын Кулиев, Евгений Евтушенко, Михаил Луконин, Римма Казакова. Книга «Мыслящий огонь» — в фондах библиотеки Конгресса США и Гарвардского университета.



1943—2012
к 80-летию со дня
рождения поэта

В 2009 году Валерий Зубарев стал победителем общероссийского литературно-публицистического конкурса «Спасибо тебе, солдат». С чтением своих стихов он выступал в Колонном зале Дома Союзов. Наиболее полно отражает творческий путь поэта однотомник «Другое "Я"». Последним прижизненным изданием стала книга стихов «Зеркало Бога» — в нее вошли стихи, которые ранее не публиковались. В этом году Валерию Федоровичу Зубареву исполнилось бы восемьдесят лет. Сборник «Спас на Любви», в который вошли стихи разных лет и рассказ «Стариковский эдем», показывает, что творчество поэта с годами не теряет своей актуальности.



Валерий Зубарев



Спас на Любви

Стихотворения
Проза



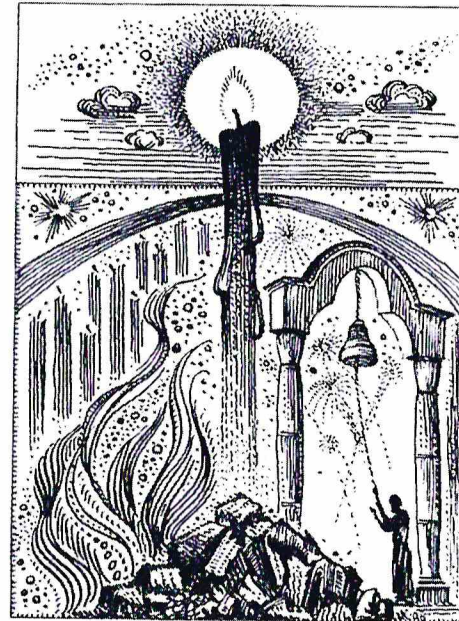
ВАЛЕРИЙ ЗУБАРЕВ

СПАС НА ЛЮБВИ

Стихотворения. Проза

Издательство «САМ ПОЛИГРАФИСТ»

**Москва
2023 г.**



Художник Василий Кравчук

*Благодарим всех, кто оказал финансовую помощь
и поддержку в выпуске книги.*

Предисловие

В этом году Валерию Федоровичу Зубареву исполнилось бы восемьдесят лет.

Читая стихи поэта, вы наверняка почувствовали в них биение сердца, хотя вот уже одиннадцать лет, как автора нет с нами. Многие из поэтических строк как будто написаны сегодня и еще не остыли. В них мучительные переживания за страну, за близких, за наше больное общество, за подмену понятий «выгода» и «справедливость». Все это нашло отражение в разделе «Тревожная ночь».

Раздел «Завтра видится через вчера» позволяет нам в незатейливой форме, через житейские истории — где-то забавные, а где-то пронзительно грустные — почувствовать мощь наших корней.

Вот такими были наши дедушки и бабушки, хозяева и обитатели нашей малой Родины: открытыми, в чем-то наивными, трудолюбивыми, чудаковатыми и удивительно целомудренными. Читая эти истории (к слову сказать, мастерски написанные), погружаешься в особый мир, которого... уже нет.

Это как песок. Вон сколько его! Хочется в охапку захватить. Глядь! — две пригоршни осталось, да и те меж пальцев высыпаются. Скоро по песчинкам можно будет сосчитать. И только теперь понимаешь: песок-то был золотой!..

Произведения Валерия Зубарева объединяют прошлое и настоящее. Они дают нам ответы на многие вопросы современности. И главный из них, думается мне, заключен в названии этой книжки.

Елена Зубарева

Часть 1

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

Есть особая прихоть у русских,
без которой не жизнь, а тюрьма:
выше пользы — умение рук их,
выше пользы — причуда ума.

Запредельное нас окрыляет.
Нам привычный зенит — не зенит.
Есть Царь-пушка, пускай не стреляет.
Есть Царь-колокол, пусть не звонит.

И меня к запредельному слову
так влечет... — головой не понять.
Я любую полезную славу
На Царь-книгу готов променять.

И стремлюсь с наважденьем глубоким
подковать легковесность стиха,
чтобы не был он слишком уж бойким,
точно аглицкая блоха.

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

I

В темных углах
словно бы нежить дрожит.
Тихо жена
что-то во сне пробормочет.
Непогодь
по-печенежьи
в окно завизжит,
кочетом вскрикнет..
и танком вдали зарокочет.
Что-то родное —
природная, что ли, душа,
не уместившись
в пределах сибирской России,
кинулась странствовать,
ветром тревожным дыша,
по временам и пространствам
народной стихии...
Спят мои предки
в Притомье у Писаных скал,
спят в Приднепровье, в Приволжье...
в глаза накатилась
вечности капля...
и так я внезапно устал,
словно усталость уснувших
во мне накопилась.

Надо было сложить
 столько былинных голов,
не изломать свою статью
 под испожаренным небом,
надо было сложить
 столько единственных слов,
чтобы не стать
 византийцем,
 татариним,
 немцем.

И безоружным
 оружия не сложить,
этим и жить
 даже в колодке нашейной,
более ста
 войн и разрух пережить,
трижды ожить
 после великих нашествий.
Вспыхнуло!
Треснуло!
Грянуло!..
 Он это, он! —
разволхвовался
 по градам и весям сибирским
дух неубитый
 грозных пространств и времен, —
он
 не дает засыпать
 сном богатырским.

Он превратил
 в недреманное око — окно,
он призывает стихии
 и гонит усталость...
чтобы на пулю —
 на чертово веретено —
нитка судьбы —
 ни твоя, ни моя —
не моталась.

II

Смутный ропот в ночи:
 — Возгордившиеся,
должники мои неоплатные,
почему вы
 друг в друга целите
из травы моей, из ветвей?..
О воины, неродившиеся
 и уже оплаканные
матерью
 бесстрашной
 своей.

Потому ль, что не вечна Земля,
это чудо не очень-то цените,
как и чудо жизни своей?..
О, женщины-поля,
мужчины-сеятели!..
Времена
 пожинают
 урожай сыновей.

III

С молодостью прощается
даже красивая мать.
Камень в песок превращается...
Не помогай разрушать!
Двигутся тени ночные,
кто-то идет убивать,
что же вы, люди дневные...
Не помогай разрушать!
Что же вы, люди слепые, —
зрячим не надо мешать...
Не помогай энтропии —
не помогай разрушать!

IV

Между нами неравенство лет.
Мы презрели его.
И однако
на лице твоём
жизненный свет,
а мое —
потемнело от мрака.
Вы куда, мои дни?... —
В никуда...
О, мгновения скаковые!
Быстротечны
земные года,
даже если они
световые.

Вызов времени самому —
мы не первые из скитальцев,
простирающие сквозь тьму
пятилучья непрочные
пальцев.
Не за ними ли торжество
там, где свет свои копыя ломает,
там, где звездное вещество
кулаки лучевые сжимает.

Обладает планета людей
дерзким чудом двоих.
И прекрасно,
что земные ладошки детей
растопырены
звездообразно.

V

...Опять любви полна
двуполая природа.
И влажная луна
сияет с небосвода.
Из мглы Стрелец, шая,
прицелился из лука...
Летит, летит Земля,
как сизая голубка.

ВОРОН

Не архилитературный,
вполне натуральный на вид,
из прошлого
ворон сутулый
за мной неотступно
следит.

На дне неподвластной пучины,
томясь в летаргическом сне,
натужно
прапамять мужчины
ворочается
во мне.

Я видел в минуты крутые
пернатое это пятно.
Для гибнущих
небо России
навек затмевало оно.

— Не дай мне ослепнуть!
Не дай же...
Но ратное божество
на грудь упало...
А дальше
не помню уже ничего.

Нет,
вижу, что траурно крашен,
чужой
для чужих воевод,
в тот миг
еще более страшен
картавящий небосвод.

Нет,
слышу, как, жажда мести,
безумно молитвы твоя,
проклятия ангелу смерти
враждебные шлют лагеря.

Чернейшей из аллегорий
до этого что за дела?.. —
Рвет ворон
силки категорий
добра сопредельных
и зла.

И вновь неподсуден.
И вот он... —

прорвал наслоенья
времен.

Глаза закрываю —
ворон.
Глаза открываю —
он.

Лучистое небо синеет.
Но тело его в вышине
осколочно воронее,
прапамять тревожа во мне.

Он грузно
на грудь
не слетает.
Не застит он
небо страны...
И все же
в глазах не хватает
кусочка голубизны.

Не петухи
нас будят,
а вороны.
Но каркают они
не похоронно.
Живу почти на высоте Стожар —
в высотном доме...
А внизу
базар.
Его вороны пробуждают тоже... —
продрал глаза,
крутые сны итожа,
и кормит их...
и радуется, лют,
что человечье тело
не клюют.

ВРЕМЯ

Дети пахнут
мертвечиной,
цинком
и свинцом...

Страшно,
страшно
быть мужчиной...

Но
страшней —
отцом.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЮНОСТИ

Древнейшая профессия
«солдат»...
О ней напомним вдруг
военкомат.
И снова бросит в жар меня
и в холод...
И вспыхнет к жизни
юношеский голод,
когда ты весь —
желание любить
и ожидание —
любимым быть.

Взамен того — палящий,
полигонный
июнь мне выпал
мертвенно-зеленый,
в котором не живут ни зверь, ни птица,
и кислота синильная
змеится,
и вместо лиц —
по два стеклянных глаза
над складчатой кишкой
противогаза,
и потому
мои однополчане
причудливы,
как инопланетяне.

Я помню: за каких-то
две недели
мы высохли тогда
и почернели.
Зато потом,
июнь мой потогонный,
на старого служаку
я, «зеленый»,
смотрел
без восхищения невежды:
привычно
из защитной спецодежды
сам выливал я
пота до ведра...
Уже вода не снилась до утра.

Следило солнце
чутко, как радаром,
грозило солнце тепловым ударом,
пока мы
от атаки до атаки
раствором обрабатывали танки.

Я помню,
как очнувшийся танкист,
коротконог
и скулами землист,
клял нас,
и зной,
и запах аммиака...

Но полегчало тут ему, однако,
и он разговорился о Таймыре...
А я взмолился
к холодам Сибири.

Ударили морозы —
будь здоров!
Был дан приказ
не разводить костров:
пеклось начальство о составе личном,
чтоб был он боевым, а не тепличным.

Еще бодрились
наши «старички»,
еще крепились мы —
сибирячки.

Но первогодок!
Южный человек!
Век не забудется один узбек,
которого, дурачась, мы прозвали
Цветком Абхазии
и Генацвале.

Покат в плечах,
Изящно ломок,
тонок,
каких-то знаменитостей потомок,
он вырос под звездою
музыканта
и знать не знал,
что будут два сержанта
его с боков толкать:
«Цветочек, бегай!
Да бегай, черт!
Ах, Генацвале бедный...»

И все ж не брали нас ни жар,
ни холод,
и каждый был тогда красив
и молод,
и каждым где-то девушка гордилась...
И юности не жаль, военкомат.
и счастлив,
что с тех пор не пригодилась
древнейшая профессия «солдат»,
что я могу любить, любимым быть,
а не убитым быть...
и не убить.

Когда спасенье — самокрутка,
когда,
всю ночь со сном борясь,
встречаем мы в дороге утро,
глаза тараща и бодрясь,

и под прикрытием метели
спешим, каленый грунт долбя,
машины спрятать в аппарели
и в щели мерзлые себя.

Когда впервые жизнь полюбим
с такою силой неземной,
как будто медленно пригубим
глоток от вечности самой... —
исчезнет время.

Око в око
посмотрят юные отцы
из нас, взрослеющих до срока,
на вас, грядущие юнцы.

Пускай патроны холостые,
пускай — учебная война,
но за спиной у нас Россия
и впереди у нас она.

Ты, Россия, не мертва
на кругу скорбей...
Если скажут:
«Будь жива,
а меня убей», —
сделай так.

К своей судьбе
унесусь я ввысь...

Будут
мною
грозить тебе —
тут же отрекись.

Предавай меня —
о Русь! —
но храни в груди...
Я вернусь к тебе,
 вернусь...

Жди,
ты только жди.

Полудерево, полусталь —
вся страна моя
тризна страдающих.
И почти одинаково
жаль
и убитых...
и убивающих.

Завтра видится
через вчера:
их тела,
молодые и цельные,
разорвутся
от криков «ура»,
превращаясь
в идеи бестельные.

ДЕМОСУ

«...бунт бессмысленный...»

А. С. Пушкин

Руками нищих и господ
шатаешь пушкинский треножник...
Увы тебе, святой народ,
давно ты чернь,
давно безбожник.

Копытами своих скотов
бьешь в лбы
с божественной печатью,
глаза, глядящие с печалью,
ты выхлестать
всегда готов.

Тебя
у роковой черты
прельстил лукавый
новой верой, —
и человечью мерку
ты
назвать позволил
высшей мерой.

Утробный, громкий, диковатый,
доверчивый, блажной, поддатый,
в оправе гоголевских рыл,
в башке, прилизанно-патлатой,
царя по капле умертил.

С тех пор,
на все гордыню щеря,
в тебе,
тебе же вопреки,
грызутся дружно, как в пещере,
твои вожди и вожачки.

И те,
что из тебя же вышли,
чтоб над тобой же
воцарить,
почти уговорили
к «вышке»
Всевышнего приговорить.

Тебя стыжусь,
но не стыжу я.
Ты — совесть.
Только ты стыдил.
Ты — судия.
Ты всех судил...
С прозреньем
о тебе сужу я.

Я — часть твоя...
Не улыбайся.
Я в клетке,
но не заблуждайся.
Ведь если в клетке заболит,
твой Айболит не исцелит,
сгниешь от СПИДА и от рака.
И даже маленькая ранка,
как мертвый Лазарь, засмердит.

Оставь непогрешимый трон,
неси свой крест и в этой эре.
В который раз
приговорен
ты к самой высшей —
Божьей мере.

У заповедного моста
Господь вас поразил
в уста.
Замкнул плотиной вашу грязь,
чтоб в вас же
ваша грязь лилась.
Чтоб в души не ломились вы,
чтоб словом подавились вы.

Но дьявол
вам
отверз уста
у несожженного моста.

И между Богом и людьми
по снам,
по дружбе,
по любви,
не отражая облака,
дымится
адская река.

И не дотла сожженный мозг
над ней —
как обгорелый мост.

Бурлящая страна,
не ты мечту похитишь,
что вот...
всплывет со дна
не субкультура —
Китеж.

Я выстрадал давно
под песни воровские:
не надо путать
дно
и глубину России.

Какими мы были!
И как мы любили!..
Утробные люди,
вы нас победили.

Закончились ваши
колбасные беды.
Пируйте!
Но Пирровы
ваши победы.

Попсу-колбасу
бесконечную
жуйте,
Поэзию
этой попсой
обуржуйте...

И все-таки высится
Спас на Крови.
И все-таки видится
Спас на Любви.

Сутулиться —
свойство рабов.
А мы...
мы давно без горбов.

Давно мы себя
разломали
и с болью
горбы распрямили.

Ни рабства
и ни горба...
Но где ты —
как выстрел! —
судьба?

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ

I

Я не хватал
стервозных звезд...
Я в заполярье не замерз.
Сквозь польский гонор
рыл окопы...
Дорылся в Польше
до Европы:
шепнула
через «крев» и «пся»,
что в ней одной
Европа вся.

Сменил
лопату,
лом,
кайло
на своевольное стило...
И снова стынь...
И юный БАМ
морозно прилипал к губам.

Прекрасен был я,
не был желт...
Был воздух,
как земля,
тяжел.

А ныне давит,
как свинец,
и ни ушей,
и ни сердец...
И, как Назым, я не кричу

— Свинец
расплавить я хочу!
Лишь тем
на что-нибудь гожусь,
что
чистой юностью
горжусь.
Хотя не я ее придумал,
хотя не я ее продумал.

II

Мы юностью не дорожили,
на идеалы положили
простые чувства...
Плаха Русь! —
разочарованно смеюсь.
А раньше
так душа кричала,
что ей другая
отвечала!

III

Живем
без Бога с Богом
мы.
А как?
Спросите у тюрьмы.

А у сумы
спрошу я сам,
когда пойду
по небесам.

ПОКАЯННЫЙ ВЕРЛИБР

Мы пока лишь
болтаем
о стремлении к совершенству...

Мы не то что на Деву Марию —
даже на Магдалину
не тянем...

Ни тем более —
на Христа...

Ни на трижды отрекшегося
Апостола...
И даже
на Иуду...
Потому что предавали
не один раз...
И даже в мыслях
ни разу
не повесились.

Реже, реже,
но говорят:
человек человеку —
брат.

И все
чаще и чаще
толк:
человек человеку —
волк.

...Ваня,
волчьей стране приснись,
к ней безгрешной душой
прижмись

и шепчи
от семи дорог:
— Человек Человеку —
Бог.

Рисуешься тем,
что безбожник,
а сам,
неподвластно уму,
выходишь
под ласковый дождик
и радуешься ему.

И к небу
лицо поднимаешь,
и слышишь внутри
голоса...
Но внутренне не понимаешь,
что благодаришь небеса.

Что мне внешность!..
мне нужна душа.
Будь ты красавица —
за это
ты не получила б
ни гроша
из казны
богатого поэта.

Да, богат,
от Бога я богат:
травы слышу
и миры иные,
блещут ощущения двойные...
Свету я слуга,
хотя не свят.
Зря меня
от боли берегла...
Все равно,
как в сумеречном храме,
сквозь слезу
привиделись крыла
с хрупкими
обтертыми
краями.

ОДА ЖЕНЩИНЕ

Что там деньги,
карьера,
квартира,
все сокровища
Божьего мира:
эти звезды,
и ливни,
и снег... —
за твои поцелуи
навек.

Что все царства
и все государства,
все красивые вспышки
гусарства,
все безумства...
и срывы в судьбе... —
за удачный стишок
о тебе.
Как природа,
смеешься, рыдаешь...
И миры,
как природа, рождаешь.
И дороже
бессчетных даров
эти теплые тельца миров.

Есть у меня Аленушка,
есть у меня Егорушка.
Тренькает жаворонушка
и подпевает скворушка.

Светлая лебедь женушка
все-то гнездо латает.
Ловит улыбкой
солнышко,
в тихих мечтах
летает.

Есть ли еще
сторонушка,
где хорошо бывает... —
тренькает жаворонушка,
скворушка подпевает.

Замечаю
по приторным взглядам
мужчин —
ты для них
далеко не святыня.
в этом мире
из всех
я остался один,
кто тебе поклоняется
ныне.

Где мужчины на женщин
не просто глядят,
а как будто смакуют
глазами;
где приевшийся шкафу
дорожный халат
плотоядно
грустит о пижаме;

где пустынно
у многих
в транзитной судьбе
и не пусто
в транзитной постели...
В этом мире
лишь я
прикасался к тебе
так,
что руки благоговели.

Это мой,
или твой,
или времени грех,
что сильнее я стал
и слабее
в этом мире,
где ты
не святыня для всех,
где глаза мои
пальцев грубее?..

Не жил и раньше
не любя,
но изменилось что-то...
«Люби меня, как я тебя...» —
начертано на фото.

Когда-то
шуточно скорбя,
не видел в редком доме:
«Люби меня, как я тебя...»
в девическом альбоме.

Не просветить
поверхность слов
тому,
кто сам бежит их.
Воспринимал
альбомный слог
как пошлый пережиток.

Возник он в памяти,
зная...
И с дрожью
жизнь итожа, —
«Люби меня, как я тебя...» —
Я заклинаю тоже.

Нет слов
наивней и мудрей...
Светящуюся строчку
вписав
в альбом души моей,
не ставь на этом
точку...

Мы в снах своих
сине-зеленых
плескались, как рыбы в реке...
До всхлипа в ладонях влюбленных
рука приникала
к руке.

И время, как птица,
летело
над чувством...
над спящим
умом.
И верить хотелось всецело,
что мы
никогда
не умрем.

Я родился давно,
но для многих еще
не родился
и порою хочу,
чтоб меня узнавали кругом.
Не совсем отмечтал
и еще не совсем
отгордился,
но все чаще мечтаю,
по правде,
совсем о другом.

Что, когда я умру,
а вернее,
умрет мое тело,
чтоб в дремучем беспмятстве
ешилось хоть что-то
векам,
чтоб любимая женщина
и до гроба любимое
дело,
забывая меня,
по моим тосковали
рукам.

Всю жизнь мятется
русская душа...
То нянчусь с ней,
как будто не дыша.

То маюсь с ней,
как маятник качаясь...
То бесшабашно веселюсь,
отчаясь.

Смеюсь как плачу,
плачу как смеюсь.
Грешу и каюсь,
и до слез молюсь.

К вражде готов
из-за любви и братства.
Свободу пью,
но мучит жажда рабства.
Теряю общий дом,
хотя народ
в нем все же собирается
вразброд.

Кто связку слов несет,
кто дров беремя
через Великое
Пространство-Время.

Часть 2

ЗАВТРА
видится через
ВЧЕРА

СТАРИКОВСКИЙ ЭДЕМ (Прозаическая поэма)

Дед Василий Сыпкин, по-местному батька Василий, пережил третью свою старуху.

Когда умерла бабушка Прасковья, ему уже переваляло на восьмой десяток. И люди говорили, что вроде бы он еще и после сорокового дня горевал о ней не меньше, чем о прежних двух, хотя была она ему при жизни (да и сам он ее почитал за таковую) не иначе как наказанием Господним. Действительно, незаурядная была бабка: махонькая, вся как будто составленная из сухих палочек и дощечек, она нешуточно дралась и царапалась с мелюзгой из-за какой-нибудь куклы или тряпицы и, одержав победу, торжествующе сверкала глазами. Если же иная вопящая на всю улицу сопля успевала улепетнуть со своим трофеем, бабушка Прасковья, сотрясаясь обессоченной плотью, яростно стучала кулачком по ладошке:

— Отдай, дохлятина!

В ответ на упреки и уговоры обиженно забивалась в угол и не выходила из него часами, молча отмахиваясь от всех своей лучиноподобной ручонкой.

Среди родных батьки Василия и общих знакомых имя капризной старухи стало даже как бы нарицательным. И взрослым, и детям при случае пеняли:

— Не маши рукой, как бабушка Праскева.

Сколько помнится, ютились старики в банной пристройке. Батька Василий сочинил ее сам, не желая стеснять семейство своей дочери — тетки Раисы и ее мужа — дядьки Алексея, хотя место в просторной

бревенчатой избе, без сомнения, нашлось бы: повзрослевшие дети жили своими домами; осталась лишь шестилетняя Зинка — последышек.

В стариковском жилище не было другой обстановки, кроме железной кровати, лавок да верстачка, который служил и обеденным столом. В погожие дни верстак переносился во двор, и батька Василий творил свои полуплотницкие-полустолярные произведения на глазах у любопытной и небескорыстной соседской детворы, изредка одариваемой красивой стружкой, а то и затейливой бакулкой. Но вообще-то батьки Василия ребянтя дичилась за его, вероятно вызванную тугоухостью, всегдашнюю замкнутость и неожиданно странные вопросы, которые он, поманив какого-нибудь заинтересовавшего его мальчика, выкрикивал истошным тенорком и с болезненным напряжением в лице:

— Ты чей внук будешь?

— Батьки Ив́анов.

— То-то, я гляжу, вылитый батька Митроха. Ну, как он жив-здоров?

— Батьки Иванов я, — отвечал пораженный малыш и жалобно причитал, видимо, копируя своего недужного деда:

— Ноженьки у него изболелись, рученьки...

— А-а... То-то его не видно стало... Ну, царствие ему небесное.

И батька Василий, снова безучастный к окружающему, уходил в работу. Итогом являлся очередной громоздкий буфет с аляповатыми филенками и балясинами, которые старик умудрялся вытачивать на токарном станочке, сооруженном из ножной швейной машины. Такие буфеты, похожие на причудливые замки, можно

было увидеть не только в рубленых избах городской окраины, но и в коммунальных домах центра шахтерского городка, в том числе и в квартирах местной интеллигенции. Так что деньжонки у батьки Василия водились, тем более тратить их было особенно некуда: дядька Алексей, хотя и гордился своим делом шахтового отпальщика, предпочитал по привычке былого крестьянина жить чуть ли не полностью натуральным хозяйством — стайка с коровой-полутораведеркой, отдельный загон, где в теплой жидковатой грязи нежилась не меньше трех чушек, вместительный, обведенный по изгороди малинником, огород, где произрастало все самое необходимое — от картошки до самосада. Однако же ни в чем не нуждаясь в такой благодати, вид батька Василий имел неухоженный, носил одни и те же заскорузлые порты и незапоясанную косоворотку, белесую от въевшейся древесной муки: у тетки Раисы руки до всего не доходили, а бабушка Прасковья все свое время отдавала занятиям с любимыми цацками. Старик потерпит-потерпит, да и запрячет их либо выбросит. Так случилось и незадолго до ее кончины. Мстя ему, она улучила момент и спихнула его в подпол, который он собирался подправить. Батька Василий, обычно смиренный, выбрался из западни до невменяемости расевиривший, и если бы при падении у него не вырвало топор из рук, о черен которого он, как потом выяснилось, сломал ребро, история могла закончиться ужасно. А так — бабушка Прасковья отделалась лишь потерей сережки и разодранной мочкой. Впрочем, такой исход мало что изменил в судьбе старухи. И раньше, как она ни пользовала себя чаем с перцем, ее постоянно бил сухой кашель. А тут совсем слегла в сильной горячке, да так больше и не пришла в себя.

— Дождалась смертушки, — переговаривались соседские старухи на кладбище, прикасаясь к губам концами черных платков. — А и чего жить-то?.. Ни дитятки, ни ягнятки...

После похорон батька Василий замкнулся совсем. Чуть оправившись, он не давал ни минуты покоя узловатым рукам с изношенной до прозрачности кожей и дотемна простаивал у верстака, словно оттягивая возвращение в свою одинокую конуру. Но в дом дочери и зятя, как его ни просили, не шел тоже, отгородившись от всех молчанием и тусклыми безразличными глазами.

— Жанить надо батьку, жанить... — настырно твердила коренастая тетка Раиса, упираясь крепкими ногами в перекладины табурета.

— Хо-о, растуды ее, эту Раису, — ухмылялся дядька Алексей, — дай хоть старику оклематься маленько.

— Нет, жанить. жанить...

Но найти бабку на выданье оказалось не так просто. Одни бабки не устраивали тетку Раису, другие на смотринах привередничали сами. Запомнилась одна из них — дородная, с суровым скуластым лицом и по-татарски тянутым разрезом глаз. Издали оглядев радеющего над верстаком старика остро и бесцеремонно, а затем вонзившись взглядом в тетку Раису, она вопрошающе воскликнула густым сочным голосом:

— Да никак вы расейски?!

— Какие сейчас расейски, все мы осибирячились, матушка, все мы осибирячились, — задолдонила по своему обыкновению тетка Раиса.

— И то, по разговору слышать, — усмехнулась старуха. — Осибирячились, — передразнила она тетку Раису.

— А хоть бы и расейские, та что из того? — вмешался дядька Алексей, сам-то происходивший из сибирских старожилов.

— А то, что все они мшоны да лаптем крешоны.

И в глазах у старухи замелькали отрывочные тени былых картин:

— Понаехали они, отведали нашего хлебушка, а он у нас пышный да мягкий; это, говорят, рази хлеб, травой трава, с него и ноги не потащишь; вот у нас хлеб так хлеб, хоть топором его руби, а съешь кусочек — день сыт. А хлеб — от их, что твоего глыза, в горло не лезет. Вот тебе и расейски!

— Их ли вина, что у них всю жизнь кишка кишку погоняла?

— Нет, не говори, парень. И зависть от них зачалась, и жадность, и авели в каинов доньне творятся, и убивства пошли, и запоры... Да и ликом он мне не ндраву, — резко перескочила на другое старуха.

А между тем тип лица батьки Василия нынче назвали бы, пожалуй, византийским, а тогда ребятишки находили в нем сходство с ликом Николая-угодника, запечатленным на большой коробчатой иконе в красном углу избы. Вот еще одна из причин, по которой они чурались деда. К тому же, лик живой изрядно был попорчен старостью, внешние углы век отвисли, отчего глаза приобрели каплеобразность, придавая всему образу отпугивающую унылость.

— Вы не смотрите на мою плоть, — подняла старуха свою изломанную ревматизмом руку, — эту болюсть я на руднике нажила. Иван, старик мой, в землю ушел, дети по свету разлетелись, вот и подалась я на шахту

уголь ковырять... Да не о том я, — перебила она себя и с жаром выдохнула:

— Это снаружи я старуха, а внутри — девка! Так каково мне после Ивана, за коего я уходом пошла, не на его лик смотреть да слушать, как не по-его языком ворочают — улиса, куриса... Да и грязнули расейски. Навидалась! Иная встанет и неумывахой — к печи: «муху попала!» — а сама лезет в чугунок пальцем. Тьфу ты, Господи...

И вдруг цепко оглядела руки тетке Раисы.

— Вот и у тебя, девонька, козанки-то не промыты.

— Ну знаешь, невеста, растуды твою, — буром попер на нее батька Алексей, — вот тебе Бог, а вот тебе порог, так что метись отседова!

— А ты почто меня гонишь, глыза пустопогодная! — взъерепенилась старуха. — Я вам не навяливалась... Да не пучь бельма-то, не больно испугалась. Тьфу ты, согрешила с вами, каины, — и старуха неторопливо удалилась.

— Кержачка недобитая! — расходился дядька Алексей. — А ты, — поднес он темный кулак к лицу тетки Раисы, — чтобы больше не смешила народ с батькиной женитьбой.

Но судьба решила по-своему. Дядька Алексей еще и остыть не успел, как в избу вкатилась невысокая пухлая старуха, довольно моложавая, с обнаженными в располагающей улыбке двумя хорошо сохранившимися зубами, что делало ее похожей на симпатичную крольчиху.

— Мне сказывали, что вашему батьке старуха нужна, — начала она, несколько смущенно поздоровавшись и поясню поклонившись, — так я согласная...

— Глянется, что ли, старик? — моментально обрета равновесие, спросил дядька Алексей.

— Только бы я ему да вам глянулась. А мне что?.. Старик работающий, угол свой имеет... А мне во как опостылело по чужим людям скитаться.

— Уж наш батька такой работающий, такой работающий, — завелась тетка Раиса.

— Дети-то есть? — прервал ее дядька Алексей.

— Двух сынов на войне поубивало, один на шахте погиб. Осталась дочь — Нюрка, вы, может, знаете: взамужем она за Гришкой Рыкиным. Да не поладили мы с зятьком.

Гришку Рыкина, как мало-мальскую знаменитость городка, редко кто не знал: он шоферил на орсовской полуторке, отличался невероятным нахальством и скандальным характером, изображал из себя морскую душу, за что, как и за любимое присловье, его прозвали Якорь-Якорек. Так что ни у кого не возникло и тени сомнения, что за кроткой ласковой внешностью бабушки Анфисы может скрываться неуживчивый нрав. А нраву она поистине оказалась голубиного.

Делала все легко, с веселым воркотаньем. Батьку Василия отмыла, отскребла, одела во все чистое, и он смотрелся и впрямь женихом. Каждую субботу бабушка Анфиса до того его парила в бане, что старик сомлевал, и она вела его в жилище как есть — даже без исподнего, — благо, что только два шага и ступить. Ребятишкам такое было вместо развлечения.

Прыская смехом, они подглядывали в низкое оконце, как бабушка Анфиса в еле наброшенной на себя цветастой ситцевой простыне хлопотала, отпаивая квасом, и вовсе не одетого батьку Василия.

Чумная Зинка, ставшая еще заполошней с тех пор, как на святки ее испугали ряженые, шастала от пристройки к избе, перенося свои наблюдения.

— Мамка! Папка! Вот сраму-то! И бабка Анфиза нагишом, и батька наш!.. Квасу напились, а теперь чай пьют, — орала она благим матом и опять убегала.

— Чисто Эдем, чисто Эдем, — смеялась тетка Раиса и, не выдержав, присоединялась к пытливым детям, хотя дядька Алексей грозил ей и обзывал стоеросовой дурой. А она потом вслух отмечала, что тело у батьки на диво молодое и крепкое, и значит еще, слава Богу, протянет он долго. И со старухой ему повезло притом.

Трогательное впечатление производили старики, когда кто-нибудь из них собирался в городской центр.

— Смотри под машину не залезь, глухая! — кричал батька Василий, как все тугие на ухо, преувеличивая тугоухость других. Причем неподдельная забота и тревога на его лице никак не соответствовали грубоватым словам. А потом роли менялись и волновалась бабка.

— По сторонам-то поглядывай, ведь совсем глухой, как пенек! — тоже кричала она ему, а глаза ее были ласковыми-преласковыми.

Конец этой коротенькой идиллии положил Якорь-Якорек, когда ранним теплым вечером старики чаевничали, примостившись у порожка своего жилища. Шумно распахнув калитку, Гришка Рыкин нарисовался во всей своей выходной красе: дорогой коверкотовый пыльник, открывающий на груди мысок тельняшки, хромачи, кепочка-восьмиклинка. Следом тяжело просеменила Нюрка с крошечным Гришкой на руках.

— Здорово, мамаша! — сипловато приветствовал Рыкин бабушку Анфису и, не обращая внимания на батьку Василия, — Ну, чего ты, якорь-якорек, скусилась, как неродная?

— Мамынька! — бросилась вперед Нюрка, жалобно подтягивая пухлые губы к шмыгающей пипке. — Прости ты меня непутевую, и Гришуню тоже...

— Ну ладно, якорь-якорек, не пыли, — обрезал ее Рыкин. — Показывай, мамаша, где твое барахлишко.

— Пойдем домой, мамынька! — снова влезла Нюрка и все-таки всучила старухе маленького Рыкина, — ведь кровь твоя, помоги на ноги поставить!

— Твоя Нюрка, якорь-якорек, теперь большим человеком будет, — благодушно пояснил большой Рыкин бабушке Анфисе, — к нам ее берут экспедитором. А ты с пацаном посидишь... Вот и лады!

Захныкавший было малютка залепетал, забабакал, затеребил цепкими пальчиками бабкины щеки, и старуха прослезилась, а потом решительно поднялась с крылечка, поклонилась батьке Василию:

— Прости и ты меня непутевую.

Старик сидел истуканом, видно, ничего толком не осознавая. Зато прибежавшая с улицы Зинка все поняла и мигом слетала за матерью к соседям.

— Ой! Бабыньку нашу забирают!..

Примчавшаяся тетка Раиса обхватила старуху:

— Не пуцу, не пуцу!..

— Ну ты, якорь-якорек, осторожней на поворотах, — нехорошо улыбаясь, шлепнул ее по руке Гришка. — Не нанятая на твоём огороде мантулить.

Газуй, газуй, мамаша, — подтолкнул он к выходу бабу Анфису. — Эх, машинешка моя записховала!..

— Бандит! Тюремщик! — отступив к крыльцу, клокотала тетка Раиса, — как тебя только на машине держат! Вот, погоди, Алексей придет со смены.

— Видал я твоего Алексея в белых тапочках! — весело откликнулся Гришка и на прощанье помахал одновременно и ногой в хромаче и кепочкой-восьмиклинкой.

Батька Василий долго ждал бабушку Анфису, а когда понял, что она ушла — насовсем, стал дряхлеть не по дням, а по часам.

— Не жилец больше наш батька, не жилец, — скорбно прицокивала языком тетка Раиса. А дядька Алексей бранил ее за выдумку с женитьбой и за то, что не могла найти бездетную старуху вроде бабушки Прасковьи.

Батька Василий по-прежнему пытался что-то мастерить, но только рвал кожу на руках и уже не присыпал ранки сухой землицей, как бывало прежде. Кровь загустевала медленно, и к пятнам на его портах, последний раз стиранных бабушкой Анфисой, прибавлялись новые, когда он, рассеянно присев на чурбачок, перебирал воздух расплюснутыми на концах пальцами и о чем-то рассуждал сам с собой. Здесь, возле чурбачка, его однажды и нашли мертвым.

А через несколько дней тетку Раису тихохонько окликнула с улицы бабка Анфиса.

— Чего тебе? — недружелюбно спросила ее та.

— Повиниться пришла, Раизонька, — неуверенно обнажила два своих веселых зуба старушка, — экспедиторша-то наша проштрафилась, ее и вытурили с ора.

Гришка, известно, ее прибил, а меня прогнал: не нужна таперича нянька... Может, назад примете? Батька-то где?

— Как где батька, как где батька? — отшатнулась ошарашенная тетка Раиса.

— А-а... Вы ведь, считай, на другом конце живете... Помер наш батька, помер, помер...

Два веселых зуба нехотя спрятались за губами, а потом внутрь медленно вобрались и губы; бабушка Анфиса молча покивала головой и, повернувшись, зашаркала ногами прочь.

— Куда ты, куда ты?! — настигла бабушку Анфису шустрая тетка Раиса.

Старуха совершенно безвольно дала увести себя в избу, неловко вытирая пятой окостенелой ладони моросливые слезинки.

Под этот стылый плач заскулила и тетка Раиса.

— Оставайся у нас, баушка, — хлюпала она носом. — Ты и Алексею ндрависься, и Зинке, и батька тебя уж так любил, уж так любил... А с бандюгой тебе едино не ужиться.

Наконец всхлипнула и бабушка Анфиса.

— Спасибо тебе, добрая душа... О том бы и хотела просить. А в обузу не буду. Да и не заживусь...

Так бы, наверное, и обитала бабушка Анфиса до последнего часа почти в своем, когда-то для нее счастливом углу. Но скоро не стало ни пристройки, ни избы, ни самой улицы: подступила шахта, и дома пошли под снос, освободив место обвалам, а жители переехали в новые коммунальные здания. Дали двухкомнатную квартиру и семье дядьки Алексея — ни подсобного

хозяйства, ни простора. И как ни привыкли к бабушке Анфисе, все-таки распрощались с ней.

Судиться с Нюркой бабушка Анфиса не захотела, лучше уж опять наняться домашней прислугой. Так и несла свой крест. А когда совсем ослабела, выпросилась в дом престарелых. С тех пор о ней больше никто и не слышал.

НЕЧЕЛОВЕЧЬЯ БЫЛЬ

I

И в захолустье есть очарованье,
глядишь, глядишь, а глаз не устает.
Ведь улочка — корявая, кривая —
естественно, как дерево, растет.

Здесь лето вьется хмелем и горохом,
укропом пахнет, свежим огурцом.
И пугалом гордится огородным,
хотя затылок путает с лицом.

Повизгивают в стайках поросята,
сметает с треском бита городки.
Азартные, как малые ребята,
здоровые ликуют мужики.

Когда игра, играют здесь до пота,
в работе отдыхают от игры.
В работе отдыхают от работы...
Оттуда, где надшахтные копры,

идут домой, могуче и устало
лопатками литыми шевеля...
И пальцы в точках угля и металла
окрашивают зелень и земля.

II

Здесь и поныне здравствует мой дядя.
И выглядит совсем не стариком.
Толкует о коровке, о рассаде,
хотя всю жизнь работал взрывником.

И, всласть смакуя огородный воздух,
твердит, что даже больше, чем людей,
растения он любит и животных,
особенно собак и лошадей.

И бабушка моя не раз, бывало,
о прежнем вспоминая нехитро,
иссохший перст торжественно вздымала:
«А все-таки счастливый наш Петро!»

Он-де в ночном бывал, поездил вершнем...
Глухой платок спускала с головы
и бормотала о своем, о вешнем...
Потом опоминалась вдруг:
«А вы!...»

И охала с такой же древней бабкой,
что с той поры, как уголь здесь нашли,
хозяйство стало для сынов забавой,
а внуки — те и вовсе отошли.

«Хоть и Петро...» —
и смолкнет виновато...

III

О дяде говорила вся родня
не потому, что кровные деньжата
он вбил не в мотоцикл, а в коня.

Но убыл конным, а вернулся пешим.
И смерклось не совсем, как на беду.
Соседи к окнам:
«Петр!
С каким он лешим?
Кого это он тащит в поводу?»

Ну, чудеса!
Не конь, не жеребенок,
а ростом чуть поболее козла...» —
И грохнули:
«Ах, черт ему ребенок!
Осла живого приволок.
Осла!..»

На смех и гомон выскочила тетя.
Махнул ей и во всю-то ширь лица
заулыбался дядя:
«Мотя! Мотя!...»
Но тетя Мотя не сошла с крыльца.

«Ты не пугайся, Мотя,
это ослик...» —
Молчала тетя Мотя на крыльце.
А дядя ей толмачил:
«Ушки, хвостик, —
с метелочкой, к тому же, на конце.

И глянь-ка, глянь —
полоска вдоль горбушки...»
Но тетя Мотя приросла к крыльцу.
А он опять про хвостик да про ушки.
И ноздри расплывались по лицу.

«Что конь!
Коня я, мать, продал на рынке».
Сказала тетя Мотя:
«Погоди...»
«А это диво сторговал в зверинце...»
Сказала тетя Мотя:
«Уводи».

И он увел...
Не со двора, а в стайку.
В пробой неторопливо вставил штырь.
И выдержал бы не одну атаку.
Но ослик заревел на всю Сибирь.

IV

Смолил хозяин до утра сигарки.
Ломали крылья куры, ошалев.
И скорбный бунт в заезжем зоопарке
устроило зверье и царь их — лев.

Переложив тоску свою ночную
на душераздирающий хорал,
кто Африку, кто Азию родную,
кто просто миг свободы призывал, —

лесок ближайший, где клыкам свобода
и где без человеческих оков
ее уравновесила природа
свободой избавляться от клыков.

V

И сдался дядя.
Утром без тянучки
в усадьбу закадычного дружка
(поскольку у того жена в отлучке)
решил препроводить бунтовщика.

И здесь бы мямлил:
«Ослик, хвостик, ушки...»
Но своего помог ему достичь,
величиной всего-то в две чекушки, —
зато какая сила! — магарыч.

У тети в горле булькало от счастья...
А лихо во дворе орет:
«Петро!
Ты, Петя, друг, но хоть умри сейчас же,
а забирай горластое добро.

Уж я ли с ним не мыкал, не кумекал.
К соседу — тот и даром не берет.
В зверинец — растуды его, уехал.
На рынок — потешается народ».

VI

И дядя бы не сбыл товар сугубый,
хотя базар — за ним готов гурьбой.
Да выручил цыган золотозубый,
в бостоновом костюме и с серьгой.

«Вы детям покупаете игрушки.
Я покупаю — ветерок в ушко...»
С неделю отзывался дядя: «Ушки...»
И жил не тяжело и не легко.

К работе поостыл он и к животным.
Твердила тетя про цыганский сглаз:
«Сурочил, дьявол,
к бабке надо б, воском...
Задумываться стал... И гонит с глаз».

Он чугуеет, на нее не глядя.
А шевельнется — и она за шаль.
Жалел я тетю.
И жалел я дядю.
...Но ослика сильнее было жаль.

Я видел, он однажды к магазину
(как выводок галдящих воронят),
уже зимой глубокой, в морозину,
подвез в тележке кучу цыганят.

Стоял, дрожал.
Горела, но не грела
фартовая цыганская звезда.
Заиндевело то, что в жилах пело...
С тех пор его не видел никогда.

И только дух с ослиными ушами
мерещился сквозь мельтешащий снег..

VII

А как же дядя?
Аж под небесами,
раскатываясь, гложет дядин смех.

А вот и сам.
Присел над конурой.
Пылающий, как мальчик от игры.
Кричит:
«Данил Данилыч!» —
и стрелою
плюгавый песик шасть из конуры.

Из кожи лез ключицами худыми,
смеялась цепь над лапами кривыми.
А дядя через силу проронял:
«Данил Данилыч!..
Я на это имя
первейшую овчарку променял...»

И «здравствуй» я сказал,
и «до свиданья».
Но он из рук не выпустил боков.
Гремел:
«Данил Данилыч!» —
приседая..
Порхала тишина из облаков.

Не раз под ними зверь звенел цепями,
не раз звенел цепями человек..
Молчи, душа с ослиными ушами,
не мельтеши, одушевленный снег.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1 ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

«Есть особая прихоть у русских...»	6
Тревожная ночь	7
Ворон.....	12
«Не петухи нас будят...»	15
Время.....	16
Воспоминание о юности	17
«Когда спасенье — самокрутка...»	21
«Ты, Россия, не мертва...».....	22
«Полудерево, полусталь...»	23
Демосу.....	24
«У заповедного моста...».....	27
«Бурлящая страна...»	28
«Какими мы были!».....	29
«Сутулиться — свойство рабов...».....	30
Автобиографическое.....	31
Покаянный верлибр	34
«Реже, реже, но говорят...»	35
«Рисуешься тем, что безбожник...».....	36
«Что мне внешность!».....	37
Ода женщине.....	38
«Есть у меня Аленушка...»	39
«Замечаю по приторным взглядам мужчин...»	40
«Не жил и раньше не любя...».....	42
«Мы в снах своих сине-зеленых...»	44
«Я родился давно...»	45
«Всю жизнь мятется русская душа...».....	46

ЧАСТЬ 2
ЗАВТРА ВИДИТСЯ ЧЕРЕЗ ВЧЕРА

Стариковский эдем (Прозаическая поэма).....	48
Нечеловечья быль (Поэма)	60

УДК 821.161.1-8
ББК 84(2=411.2)64-5
Б 3-91

Валерий Зубарев. Спас на Любви.
Стихотворения, проза. — Москва :
ООО «САМ ПОЛИГРАФИСТ»,
2023. — 72 с.
ISBN 978-5-00227-115-3

Редактор **Зубарева Е.**
Художник **Кравчук В.**
Обложка *DesignStylePro*

Желающим приобрести книгу, помочь
в её распространении, а также по другим
вопросам, касающимся данного издания,
обращаться по телефону: +79818920832
(WhatsApp, Telegram — только сообщения.)
Приглашаем на наш сайт:
zubarevlib.ru



Тираж 500 экз. Заказ № 20495.

Отпечатано в типографии «OneBook.ru»
ООО «Сам Полиграфист»
129090 г. Москва, Протопоповский пер., 6
www.onebook.ru

Москва
2023